

парит

Леонид Пажитнов

## «Все, все, что гибелью грозит...»

О Ф.М.Достоевском

Среди художников и мыслителей второй половины XIX века Достоевский — фигура уникальная, мало с кем сравнимая. И не только потому, что был он гениальным писателем, бесстрашно впускавшим в свой художественный мир все стихии жизни. Он был недюжинным мыслителем, сумевшим пронизать собственное творчество глубокими размышлениями о человеке, смысле жизни, о мире и Боге, о природе человеческой свободы и истоках зла, о своеобразии человека и стремлении его к Добру, о гордыне и страдании, о жизни и смерти. И это были раздумья отнюдь не житейского уровня, а напоенные всесторонним знанием мирового духовного опыта.

В романах Достоевского явлен такой синтез художественного откровения и исследовательского ума, который под силу лишь человеку высочайшей творческой одаренности. Его герои — это крестные мученики владеющих ими идей. Каждый из них — своеобразный сплав характера с мыслью, ставшей его духовным остовом.

Достоевский как бы высаживает идеи, им выстраданные, в человеческие души, поверяет их жизненность и глубину человеческим материалом и пускает их в общественную среду, где они сталкиваются в напряженных диспутах и конфликтах. Метод — предельно рискованный, чреватый плоской иллюстративностью, рассудочной ходульностью, резонерством. И лишь благодаря литературному гению Достоевского этот своеобразный художественный мир сохраняет могучую витальную силу. Он далек от плоского жизнелюбия, никак не списан с натуры. И в то же время в нем живет высшая правда о жизни и человеке.

Идеи, которыми захвачен Достоевский, глубоко оригинальны и несут на себе неизгладимую печать его личности. И в то же время глубочайшими нитями они связаны со всеми духовными поисками русского общества. Это идеи, которыми жила просвещенная среда его времени. Однако у Достоевского они получили не только личностно-претворенную форму, но и были поверены судьбами людей, их драмами, страданиями, жесточайшими конфликтами «на острие ножа». Достоевский не только приблизил их к широкой читательской среде, но и предоставил возможность публике пережить их не рассудком только, но и как собственную судьбу, как нечто, что

Отрывок из готовящейся к изданию книги «Двуликий Янус» («Запад» и «Восток» в духовных исканиях русского общества XIX-XX вв.).

к каждому имеет существенное касательство.

Ни в ком, пожалуй, «Восток» и «Запад» — как олицетворение двух ведущих тенденций в идейном развитии русского просвещенного общества — не переплелись столь причудливо и конфликтно, как в Достоевском.

По натуре, складу характера, воспитанию он принадлежал к русской православной традиции — той, которую наиболее полно в идейном плане выразили славянофилы. И роднит его с ними не только поглощенность проблемой личности, ее судьбы — что естественно для него как писателя, — но и то, что эта проблема изначально ставится и исследуется им преимущественно в контексте религиозном — так, как это было у Хомякова, Киреевского. И в историческом споре православия с католичеством Достоевский так же, как и патриархи славянофильства, безоговорочно стоит на почве православия.

Ему так же несравненно ближе чувственно-нравственное начало религиозного опыта, акцентированное православием, в противовес рассудочному «латинству». Разделяет он и надежды на будущую соборную культуру в лоне православия и на объединительную всечеловеческую миссию русского народа.

Однако через все его творчество проходит идея синтеза русского и западного духа в духе Вл. Соловьева, живое ощущение того, что «у нас, русских, две родины — Европа и наша Русь».

И как бы ни была сильна у Достоевского критическая струя по отношению к Европе, в реальной трактовке проблем человеческой антропологии (а они в центре его мировоззрения) он вполне западник. Трудно себе представить то, что называется «почвенничеством» Достоевского, т.е. его горячую приверженность национальной религиозной и житейской традиции, без постоянного, почти как наважде-

ние, критического диалога со всем, что так некритически переносится на родную почву из западных веяний.

То, что именуют обычно «проповедью» Достоевского, развивалось им не в академическом изложении, а в постоянной полемике, споре. И романы его были могучим аргументом в этом споре, своеобразным экспериментом, призванным показать, к чему способна привести та или иная идея,

мой человеческой активности в мире правового детерминизма. От российских условий здесь лишь религиозный контекст. Но он весьма существенен.

У Хомякова, скажем, суверенная свобода человека может реализоваться лишь в сфере его общения с Богом, когда человек в религиозном опыте воссоединяется с верующими братьями. По мере его вступления в светский мир свобода все больше уступает место необходимости. Практически здесь ей нет места.

Достоевского же как раз интересует ее бытие и проявления в нашем повседневном мире. Здесь видится ему самая суть проблем социального бытия, подлинный путь к тайнам человеческой природы. Человек раскрывается именно в стремлении сохранить себя, остаться самим собой вопреки всем требованиям внешней необходимости, рассудка, соображениям выгоды, велениям совести.

Свобода человека осуществляется в современном мире именно как его жажда и способность к индивидуальному самоутверждению, когда он сбрасывает с себя бремя всех традиций и условностей.

Человек остается равен самому себе лишь на уровне подсознательном, в сфере «подполья», которое глубже его разума и морали. И в этом подполье, как видится Достоевскому, обнажается немалый хаос, смрад и зло.

«Делай, что хочешь» — несколько веков назад эта озорная максима Телемского аббатства звучала вполне оптимистически. Рабле мог в русле щедрого мироощущения Ренессанса верить в жизнеутверждающие начала человеческой природы, восставать против косной регламентации, сковывающей естественные стремления человека к добру и счастью. У Достоевского тональность совсем иная: если человеку все позволено, то миру грозит ужас взаимоистребления. Мир слишком дисгармоничен, в нем царит несправедливость, разлито море зла,



Ф.М.Достоевский. Скульптура С.Т.Коненкова.

если она захватит волю и чувства человека.

Мысль о суверенности личности, ее изначальной, Богом данной свободе, которую разделяет Достоевский, действительно роднит его со славянофилами. Но по большому счету здесь, в этом пункте, родство и кончается.

А дальше Достоевского начинают интересовать вещи, к которым путей проложено не было. Вот эта самая свобода, Богом данная, — что с ней человеку делать? Как ее реализовать в мире, где царит жесткий детерминизм интересов и потребностей? Как совместить свободу и веру? Где гарантия, что осуществление свободы не ввернет человека в пучину зла? Тематика сама по себе — чисто западного толка, связанная с пробле-

слишком много униженных и оскорбленных, и игра сил протеста и бунта, отпущенных на свободу, чревата вселенским хаосом.

Если человеку ничего не позволено, кроме как нести свое ярмо, если его давит колоссальный социальный гнет, и он влачит свое существование в цепях нужды, бесправия, то, как только ему будет «все позволено», он первым делом начнет сокрушать и топтать то, что его давило и сковывало, а стало быть — мучить и казнить тех, кто его казнил и мучил.

Когда человек отвергает мир, основанный на лжи и несправедливости, отбрасывает предписанные этим миром нормы поведения, сковывающие личность, ее свободу, он вынужден в себе самом находить моральные точки опоры, гарантии от насилия и произвола.

Но как обрести эти точки? Там, где культура общежития и общения, складывающаяся веками, не вошла в плоть и кровь, не стала разумеющейся нормой, где уважение достоинства и личной свободы не выросло в принцип общественного бытия, — единственной скрепой, охраняющей совместную жизнь людей от разгула разрушительных стихий, является вера.

Еще на исходе XVIII века Иммануилу Канту, выдвинувшему категорический императив как всеобщую норму нравственного поведения личности, указывали на очевидное бессилие этого принципа: ведь он требовал от человека поступать так, как ему хотелось бы, чтобы по отношению к нему поступали все, — и даже в тех случаях, когда другие поступали по отношению к нему вовсе не так, как ему хотелось. Т.е. он обязывал человека утверждать своими поступками Добро и Справедливость вопреки любым превратностям и гримасам жизни.

Трудность реализации этого принципа состояла в том, что она оказывалась несоизмеримой с той суммой благ, которая на долю человека перепала. Награды за высоконравственное поведение жизнь не сулила, и он мог оказаться в дураках.

Достоевский эту антиномию понимает и принимает. Добро в мире действительно бессильно, и дело его бесповоротно проиграно, если служение ему не вознаграждается бессмертием, если праведную жизнь уравнивает с мерзостью и развратом тлен и прах. Для него это было «ясно, как простая гамма».

Не случайно столь принципиальное значение имел для него искупительный подвиг Христа и его Воскресение: не просто, как для любого верующего христианина, а в качестве устоя всего мировоззрения. И легко верится в истинность его признания, когда он свидетельствует, что разошелся с Белинским из-за того, что тот «ругал Христа».

Эту исходную антиномию, столь драматически развернутую в «Братьях Карамазовых», позднее точно сформулировал Владимир Соловьев. «Одно из двух: или Евангельский Христос — миф, т.е. Его или совсем не было, или же исторический Христос в действительности очень отличается от Христа Евангельского (оба мнения широко распространены в наше время), — писал он на склоне лет, — или же такой Праведник, если только он когда-нибудь ходил по этой земле, не мог уже сделаться добычей тления; и признать противное — значит вообще утверждать бессилие нравственного начала в мире, впасть в такой безграничный пессимизм, при котором жизнь кажется дьявольским измышлением, а мечты о прогрессе и долге — глупым ребячеством. Если бы Христос не воскрес, если бы Кайафа оказался правым, а Ирод и Пилат мудрыми, мир оказался бы бессмыслицей, царством зла, обмана и смерти. Дело шло не о прекращении чьей-то жизни, а о том, прекратилась ли истинная жизнь, жизнь совершенного Праведника. Если такая жизнь не могла одолеть врага, то какая же оставалась надежда в будущем?»

Москва

Окончание следует.